

Г. Н. ПОТАНИН

ЧОКАН ВАЛИХАНОВ, ЕГО ЖИЗНЬ И СЛУЖБА В ОМСКЕ

Опубликовано в газете «Сибирская жизнь» (1916, № 104; 1917, № 118).

Патриархальный мир, который меня окружал на Алтае, демократизировал меня до глубины души. Панков, адъютант атамана, продолжая покровительствовать мне, чтобы выдвинуть меня на глаза начальства, устроил мне перевод в Омск. Меня назначили в контрольное отделение войскового правления; служба моя должна была заключаться в проверке разных шнуровых книг. Жалко было расставаться с этим блаженным краем и с этим милым алтайским людом. Но Омск также меня манил.

Омск, сравнительно с Антоньевском, — это столица. Там много интеллигентных людей, там больше книг; кабинетные разговоры интереснее, развлечения поучительнее. Мои друзья, казачьи офицеры одного со мной выпуска, которых я разыскал в первую голову, нашли мне удобную квартиру в казачьем форштадте, у казака Бердникова, которого офицеры звали чаще Фирсычем. Его низенький одноэтажный домик состоял из двух половин. В одной помещалась кухня, по-местному изба, с русской печью; тут жил сам Фирсыч со своей женой Филипьевной и маленькой дочкой Оней; другая половина называлась горницей. В ней городская обстановка была представлена двумя-тремя стульями и только; остальная мебель была заменена хозяйскими сундуками, наполненными домашним скарбом и прикрытыми тюменскими полозами*¹ (коврами без ворса). Кровать и стол дополняли обстановку. Вот в эту-то комнату и поместили меня мои друзья. Кормить меня обязалась Филипьевна; кроме того, она обещала давать мне к чаю хлеб, т. е. сибирские шаньги. За комнату со столом я должен был платить три рубля в месяц.

В Омске я застал своего друга, однокашника по кадетскому корпусу, Чокана Валиханова. Он принадлежал к штабу генерал-губернатора Гасфорта: был не то адъютантом его, не то чиновником особых поручений, часто дежурил в доме генерал-губернатора, принимал просителей и в дни дежурства обедал у него. Чокан вращался в верхних слоях омского общества и был чужд кругу казачьих офицеров, к которому я принадлежал. Он был сын богатого киргиза и жил в хорошей обстановке. Он был внук последнего киргизского хана, это был киргизский аристократ. Среда, которая его окружала, состояла из молодых людей, приближенных к генерал-губернатору, между которыми попадались громкие фамилии — Гюббенет, Тургенев и др. Большинство этой золотой омской молодежи состояло из пустых людей, все это был народ отшлифованный, все *comme il faut**². Ни в киргизской юрте, ни в кадетском корпусе Чокан Валиханов не мог приобрести коммодности. Общество омской золотой молодежи было для него школой в этом направлении.

Мы с ним не виделись около трех лет, и в течение этого времени, вращаясь между «полированными лицами» Омска, Чокан с успехом усвоил их внешность. Хотя он отлично понимал их внутреннее ничтожество, рассказывал много ядовитых анекдотов, обличавших их невежество и бессодержательность (например, он рассказывал, как один молодой человек, протеже петербургских аристократических старух, приехал с визитом к полковнику Гутковскому, наткнулся на разговор об английском юмористе Теккерее и стал допытываться, какую должность занимает Теккерей в Омске? Не занимает ли он важное место, и не нужно ли сделать ему визит, чтобы не показаться невежливым?), но подражал им в манерах, одевался по-ихнему, носил модную прическу, щеголял мелкими вещицами, завел коллекцию портсигаров из слоновой кости с безукоризненной резьбой и замечательных по замыслу рисунка (на одном портсигаре была изображена крыса, штопором сверлящая земную поверхность; Чокан объяснял, что это геолог).

Казачьи офицеры во главе с Пирожковым*³ очень часто меня посещали, Чокан бывал у меня значительно реже и, если заставал меня одного, то засиживался подолгу. Если приходилось приглашать его к чаю, то я смущался, что не мог предложить ничего

лучшего, кроме шанег Филипьевны. Потом это стало так меня угнетать: и эти шаньги, и эти сундуки под полозами, и низкий потолок, и окна у земной поверхности, что я решился расстаться с милой Филипьевной, с добрым ее мужем Фирсычем и переселиться на другую квартиру. Я нашел новенький домик, построенный одним только что заправившимся писарем войскового правления, и нанял у него комнату за 6 рублей со столом. Это было вдвое дороже, чем у Фирсыча. Комната моя была светлая, окна на юг, а не на север, потолок высокий, вместо сундуков стулья, столики под скатерками. К чаю мне подавали французскую булку, а вечером вместо ужина — вареный язык. Эта обстановка успокоила мой дух. Если Чокан придет вечером и засидится, то я смело могу ему предложить и чай, и закуску, и никакие сибирские шаньги меня не скомпрометируют. Да, на этой квартире я бы не побоялся разделить с Чоканом и свой обед, настолько он был приличен.

Но с переездом на новую квартиру я заметил, что ко мне стали реже приходиться казачьи офицеры, а потом и совсем прекратили свои посещения. Случилось однажды, что ко мне пришло двое или трое, и французской булки, поданной к чаю, не хватило. Новая хозяйка не считала себя обязанной подавать к чаю больше одной булки. Если бы я стал прикупать, вышел бы из своего бюджета.

Так прошло некоторое время, и вот однажды я сижу за своим письменным столом и вижу: перед моим окном появилась группа казачьих офицеров верхом на лошадях. Я отворил форточку, чтобы пригласить их войти, но они мне ничего не ответили, и только Пирожков, который был впереди всех, молча подал мне письмо, затем вся компания в карьер ускакала прочь. В письме казачьи офицеры просили меня возвратиться к Филипьевне, они писали, что они отощали на французской булке, «а у Филипьевны какая благодать! Она дает шанег до отвала». Я должен был вновь переехать к Филипьевне и оставался у ней до отъезда в Петербург. Казачьи офицеры вновь сделались моими постоянными гостями*4.

Чокан тоже не переставал меня навещать. Он нашел мне интересную работу*5, которую полковник Гутковский сначала навалил было на него самого. Это выписки из областного архива, первые акты которого относятся к половине XVIII столетия. В архиве много интересных сведений о сношениях русских пограничных начальников с киргизскими родоначальниками и князьями соседнего Джунгарского ханства, а также о торговле между Сибирью и городами Восточного Туркестана. В этом архиве заключается документальная история последних дней существования Джунгарского ханства. При живом, сангвиническом темпераменте Чокана эта работа, сама по себе интересная, но требовавшая усидчивости, оказалась не в его вкусе, он передал ее мне, и я успел пересмотреть архив от 1645 по 1755 год. Я делал выписки и передавал их Чокану, а Чокан отвозил их Гутковскому.

Позднее, когда казачье начальство, недовольное мною, решило возвратить меня в строй, т. е. отправить назад на Алтай, в станицу Антоньевскую, то один из моих покровителей, полковник Слуцкий (зять генерал-губернатора Гасфорта), которому мою судьбу поручил П. П. Семенов, добился разрешения оставить меня в Омске, — меня прикомандировали к штабу западносибирских войск и поручили рассортировку дел штабного архива, какие дела подлежат сохранению, какие уничтожению. Это была прескучная работа: прочитывать дела о выдаваемых солдатам сапожных товарах и холстах; но я должен был мириться с новой обязанностью. Это положение было временное, ведь я должен был ждать из Петербурга обещанного мне П. П. Семеновым перевода в столицу.

На новом месте я приобрел себе новых знакомых. Один из них — Копейкин. Он описывал край очень рельефно. Сплошной «урман»*6, прерываемый на протяжении 1000 верст. Его рассказы показались мне такими любопытными, что я на основании их составил целую статью, которая тогда же и была напечатана в «Тобольских губернских ведомостях» и подписана буквой К.

Кроме занятия над выписками из областного архива, кроме увлечения рассказами Копейкина, мое внимание было еще приковано к чтению книги Ю. Симашко «Фауна России». Подзадоренный этим чтением, я напечатал в «Тобольских губернских ведомостях» несколько статей, относящихся к предмету: о кулане — диком осле по рассказам моего отца, о слоне, приведенном в Омск из Ташкента, которого мой отец провожал в Ташкент.

В Омске я нашел Чокана, который мечтал о путешествии в неизвестные страны Центральной Азии и звал меня с собой. Если б в то время, когда Семенов проезжал через Омск, я оставался на Алтае, он меня не увидел бы и не возбудил бы во мне надежды превратиться из строевого казачьего офицера в путешественника.

В патриархальном Алтае и в десять лет я не узнал бы того, что узнал в Омске за один год. В это время журналам разрешено было обсуждать крепостной вопрос, а я до приезда в Омск не знал, что такое крепостные крестьяне; в журналистике о крепостном вопросе не позволялось писать, а так как в Сибири крепостного сословия не было, то я не имел случая непосредственно столкнуться с этим злом. Сосланных крепостных я не встречал, потому что на казачьей линии их не было. Поэтому «Записки охотника» Тургенева произвели на меня не то впечатление, какое они произвели на человека, знакомого со страданиями крепостных крестьян.

Чокан познакомил меня с поэзией Гейне, с барабанным боем революции. Однажды он свез меня к петрашевцу Дурову, и тут я в первый раз узнал, что существует особая порода людей, которых в Сибири называют «политики». До свидания с Дуровым я обожал императора Николая I; хотя страхи мои и прошли, Николай умер, а Россия не разрушилась, и русская жизнь при Александре II пошла тем же порядком, каким шла при его отце, но все-таки моя вера в благодетельность николаевских порядков не поколебалась. Чокан часто приезжал ко мне спорить, пытался приучить меня критически относиться к прошлому царствованию, но я упорствовал, пока не познакомился с Дуровым. Я увидел в нем человека, всем своим существом протестовавшего против николаевского режима. Он мне рассказал историю Григорьева*⁷, своего товарища по несчастью. Григорьев в числе пяти петрашевцев был приговорен к расстрелянию. Григорьев, как и другие, объявленные главными виновниками, был отправлен в Сибирь на каторгу, но он был приведен туда помешанным. Картина, которую он увидел, когда спала с его глаз повязка, так на него подействовала, что он моментально сошел с ума. Когда было разрешено выехать в Россию, Дуров увиделся с ним в Омске. Григорьев прожил на квартире Дурова сутки или более. Дуров рассказывал мне, что Григорьев был помешан на мести Николаю. Он брал в руки какое-нибудь острое оружие, упирал его в стену, сверлил ее и воображал, что сверлит сердце Николая. «Вот над этой самой стеной он производил эту операцию», — говорил мне Дуров, указывая на одну из стен. Глинка не выносил глаз императора. «Не могу видеть его оловянные глаза». И Дуров прибавил к этому рассказу, будто бы, завидев императора вдаль на улице, сворачивал в ближайший переулок, чтобы не встретиться с «оловянными глазами». Чокан немало вечеров употребил, немало крови потратил на то, чтобы обратить меня в свою веру, а Дуров в один вечер совершил со мной метаморфозу; его речи были внушительны, потому что исходили от человека, глубоко пострадавшего от николаевского режима. Мои взгляды совершенно перевернулись не только на Николая, но и вообще на монархизм.

Я ехал в Петербург уже с подготовкой к восприятию тех идей, которые должны были на меня нахлынуть в столице. Я уже стал на ту стезю, по которой пойду в течение всей своей жизни. Читатель знает, что этой подготовкой я много обязан Чокану.

Примечания:

*¹ То есть *паласами*.

*² *Комильфо* (фр.) — прилично; здесь — прожигатели жизни.

*³ *Пирожков Иннокентий* — бурят по национальности, учился в Омском кадетском

корпусе, затем в Петербургском университете, друг Ч. Ч. Валиханова и Г. Н. Потанина, участник Омского и Петербургского кружков.

*4 В числе этих офицеров были И. Пирожков, Ф. Н. Усов и др. составлявшие Омский кружок.

*5 Имеется в виду работа в областном архиве сибирских киргизов.

*6 *Урман (тюрк.)* – лес.

*7 *Григорьев Н. П. (1822-1886)* — член кружка М. В. Петрашевского и кружка С. Ф. Дурова. Был приговорен к смертной казни, выведен на расстрел в присутствии своего полка, где служил поручиком. Казнь конфирмацией была заменена каторгой в Восточную Сибирь.

Источник: Валиханов Ч. Ч. Собрание сочинений в пяти томах. Том 5 – Алма-Ата, Главная редакция Казахской советской энциклопедии, 1985, 2-е изд. доп. и переработанное, стр. 399-403